



В. Э. ВАЦУРО

Карамзин возвращается

Одним из любопытнейших феноменов общественного сознания восьмидесятых годов является повышенный интерес к жизни и деятельности Н. М. Карамзина.

Трудно отделаться от впечатления, что за последнее десятилетие писатели, читатели, издательства пытаются вернуть великому деятелю русской культуры все то, что было недодано ему в общественном признании и внимании за все предшествующие годы. Тиражи изданий уже исчисляются миллионами. Если говорить только о центральных — московских и ленинградских — издательствах, то с начала 1980-х годов одни «Письма русского путешественника» вышли не менее шести раз (в издательстве «Правда» со вступительной статьей Г. П. Макогоненко в 1980 и 1988 гг., в «Советской России» с вступительной статьей В. А. Грихина в 1983 г., в составе избранных сочинений), причем одно из этих изданий — в серии «Литературные памятники» (1984) подготовлено Ю. М. Лотманом, Н. А. Марченко и Б. А. Успенским как издание академического типа, снабженное обширным научным аппаратом и включившее как приложение переписку Карамзина с Лафатером — важнейший материал для изучения истории формирования Карамзина — мыслителя и писателя.

С обновленным корпусом, комментарием и вступительной статьей Г. П. Макогоненко переизданы «Сочинения» в двух томах (Л., 1984), вышедшие впервые в 1964 г., — наиболее полное в настоящее время собрание художественных произведений и статей Карамзина. Некоторые не перепечатывавшиеся ранее тексты из записной книжки историографа и отрывки из его писем вошли в однотомник «Избранные письма и статьи» (М., «Современник», 1982, сост., вступит. статья и комм. А. Ф. Смирнова).

Переиздана, наконец, и «История государства Российского» в репринтном воспроизведении с 5-го издания с приложением «Ключа» П. М. Строева, с сопроводительными статьями Ю. М. Лотмана, В. П. Козлова, С. О. Шмидта (М.: Книга, 1988). Современный интерес к Карамзину — это, конечно, в первую очередь интерес к «Истории». Яркое свидетельство тому — мгновенно поглощенные книжным рынком «Предания веков. Сказания, легенды, рассказы из “Истории государства Российского”» (М.: Правда, 1988) — последняя работа, подготовленная покойным Г. П. Макогоненко, столь много сделавшим для изучения и популяризации Карамзина. Откликом на этот интерес стала публикация «Истории» в журнале «Москва» (с начала 1988 года) — случай, вероятно, не имеющий прецедентов в эдиционной практике.

Этот перечень публикаций венчается появлением текста, широкому читателю практически неизвестного, напечатанного до революции в специальном издании (в книге А. Н. Пыпина «Общественное движение в России при Александре I», 3-е изд., 1900) и вышедшего отдельно в 1914 г. «библиофильским» тиражом. Речь идет о записке «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» — важнейшем историческом и социологическом трактате Карамзина. Судьба этого произведения своеобразна: оно было запрещается к публикации на протяжении всего XIX века, как содержащее критику деятельности нескольких представителей царствующего дома, в том числе Петра I, Екатерины II, Александра I, — но и в наше время неоднократные попытки его переиздания наталкивались на противодействие, то глухое, то весьма решительное, — на этот раз из-за теоретического обоснования в нем самодержавия как оптимальной формы правления для России. Упрощенная и во многом внеисторичная трактовка позиции Карамзина в «Записке» утвердилась в русской историографии еще в XIX веке; она дожила до наших дней и стала причиной того, что подготовленный текст был изъят из изданий Карамзина 1964 и 1984 годов. Сейчас, наконец, она становится достоянием читателя; она опубликована в № 4 «Литературной учебы» (вступит. статья Ю. М. Лотмана, комм. А. Ю. Сегеня).

Читатель восьмидесятых годов имеет в своих руках, таким образом, основную часть творческого наследия Карамзина, — хотя, конечно, не все его наследие. Здесь невозможно перечислять все, что ожидает еще своего переиздания, — укажем лишь, что почти весь комплекс писем Карамзина, — а это не менее четырех томов среднего объема — любителю литературы практи-

чески недоступен. Он лишен тем самым возможности хотя бы отчасти (почему отчасти — мы скажем ниже) приблизиться к пониманию личности, которая сама по себе является целым миром духовной культуры, что прекрасно понимали современники историографа. Издание писем Карамзина действительно необходимо — притом издание непременно комментированное, дающее читателю необходимую историческую ориентацию.

В последнее десятилетие появилось и несколько больших работ о Карамзине. Было бы ошибочным думать, что наука этого времени «открыла» его для себя заново. Отнюдь нет, — изучение его биографии и творчества не прекращалось и в предшествующие годы: укажем хотя бы на книгу «Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века» — сборник статей, выпущенный в 1969 г. Пушкинским Домом. Особенность восьмидесятых годов — появление биографических книг, адресованных более широкому читателю. Некоторые из этих книг, появившиеся пять-шесть лет назад, уже достаточно хорошо известны и мы можем здесь лишь упомянуть о них — это «Последний летописец» Н. Я. Эйдельмана (1983) и «Три жизни Карамзина» Е. И. Осетрова (1985). Последней по времени была книга Ю. М. Лотмана «Сотворение Карамзина», выпущенная издательством «Книга» в серии «Писатели о писателях» в 1987 году. Она займет теперь наше внимание.

Эта работа (как напоминает в предисловии к ней Б. Ф. Егоров) опирается на сорокалетние изыскания автора; ей предшествовали специальные труды Ю. М. Лотмана о Новикове, Радищеве, А. М. Кутузове, семействе Тургеневых и осуществленные им издания стихотворений Карамзина (1966) и «Писем русского путешественника»: о последнем речь шла выше. Знание эпохи было получено автором не из вторых рук, в виде добытых уже ранее фактов и сформулированных выводов, оно возникло из погружения в ее эмпирическую стихию, движущуюся, парадоксальную, обнаруживающую себя то в документе, то за документом, перефразируя известное выражение Тынянова. Ибо жизнь культуры, как и любая историческая жизнь, — это не сумма фактов, а система связей и отношений.

Книга Ю. М. Лотмана воссоздает связи и отношения. Но для этого ему пришлось отойти от типа биографа в его традиционной форме: «ученый, пишущий популярную книгу» и внести элемент «художественности» не только в характер изложения, но и в самую концепцию своей книги.

Здесь нет возможности заново поднимать вопрос, еще недавно бывший предметом оживленных дискуссий: где проходит граница между «научным» и «художественным» в биографическом повествовании. Я думаю, что вне «художественного» элемента научная биография вообще невозможна; возможны только «материалы к биографии». Любая концепция личности, выраженная в связном, сюжетном повествовании, неизбежно приобретает эстетическое качество и может быть прочитана как «роман», а если жизнь духовно насыщена или богата событиями, то и как роман авантюрный, семейный, роман воспитания и проч. Все это не только не противоречит науке, если в фактической своей части может быть документально подтверждено, но служит именно научному концептуальному осмыслению личности и эпохи.

Но «Сотворение Карамзина» не просто и даже не в первую очередь биография человека, это биография идей. Это история создания Карамзиным своего Я, своего образа, человеческого облика, «без которого в литературе пушкинской эпохи зияла бы ничем не заполненная пустота (с. 17), история самоформирования, проецированного и в литературное, и в историческое творчество. Именно такой подход к биографии, уже определившийся в написанной Ю. М. Лотманом биографии Пушкина, положен в основу книги и во многом предопределяет в ней и отбор материала, и характер его освещения, и самые хронологические границы. В центре книги — Карамзин периода «Писем русского путешественника» и первого десятилетия после возвращения.

Поставив себе подобную задачу, биограф вынужден вторгаться в область, где документов нет или они теряют свою безусловность. Здесь нужен особый метод анализа. Ю. М. Лотман определяет этот метод как «роман-реконструкцию», попытку восстановить замысел зодчего по сохранившимся разрозненным обломкам здания, — но не здание, а именно замысел, движение и изменение его творческой мысли. В этих условиях повышается роль интуиции как инструмента исторического познания, ибо история не оставила нам ни дневников Карамзина, ни интимных его писем, — а сам Карамзин и его близкие сделали все, чтобы он предстал перед потомством в том виде, в каком он (и они) считали уместным и нужным.

Здесь нет возможности подробно рассказывать, как формировалась «легенда о Карамзине», вернее, несколько легенд, лишь отчасти совпадающих друг с другом. Существовала официальная легенда об идеальном верноподданном, друге цар-

ствующего дома. Близкие Карамзина — Жуковский, А. Тургенев, Вяземский, знавшие его декабристы, как Н. Тургенев, наконец, Пушкин внесли свою лепту в ее разрушение; они видели доминанту личности Карамзина именно в независимости от официального канона. Но они же создавали и другие легенды. Когда А. И. Тургенев хотел опубликовать обращенные к нему письма Карамзина, последовало семейное «вето». Вяземский, К. С. Сербинович, М. А. Дмитриев подвергли дружеской цензуре книгу Погодина «Н. М. Карамзин», для которой сами же давали документы и писали воспоминания. Это была иная стилизация, не допускавшая в публику обстоятельства личной жизни и нежелательных по тем или иным видам политических мнений и исторического лица.

Когда из-за подретушированного портрета проглядывало живое лицо Карамзина, оно удивляло и настораживало. Старик Вяземский, в семидесятых годах беседовавший в Гамбурге со старинным своим знакомцем П. И. Бартевым, которому доверял и в журнале которого «Русский архив» печатался постоянно, бросил фразу, поразившую собеседника: «...а ведь Карамзин был только **дейстом**». Бартев не поверил: «...но мы знаем, что он неуклонно исполнял церковные постановления» (Русский архив. 1911. № 8. С. 555). Прекрасный историк, знаток эпохи, заставший многих друзей Карамзина, десятилетиями собиравший документы о нем, — не знал, быть может, самого главного, того, что определяет мировоззрение, систему идей, саму структуру личности. Об этом нельзя было говорить; Вяземский «проговорился» через пятьдесят лет после смерти историографа, сам уже стоя на краю могилы. Всю жизнь он выполнял невысказанную, но известную ему волю Карамзина, тщательно скрывавшего от посторонних глаз свою частную жизнь и частные мнения. «Почти никого из своих современников и друзей он не впускал в святая святых своей души», — пишет Ю. М. Лотман (с. 17).

Еще сложнее обстоит дело с автобиографической прозой Карамзина.

«Рыцарь нашего времени», «Фрол Силин», «Письма русского путешественника» содержат целые пласты биографических реалий. В XIX веке им верили почти буквально. Но уже классическая работа В. В. Сиповского (1899) показала, что «Письма» — результат литературной работы, где переплавлены и соединены подлинные впечатления, художественный вымысел и литературные источники. Теперь возникала задача выделить из них автобиографический пласт, «дешифровать» их. Для этого

нужно то, что называется обычно филологической критикой текста.

В «Сотворении Карамзина» (а до него — в примечаниях к упомянутому уже изданию «Писем» 1984 года) впервые предпринята целостная «дешифровка». Для этого нужно было понять художественный замысел «Писем», взять нужный поправочный коэффициент, восстановить по косвенным данным хронологию и маршрут поездки Карамзина и понять исторический контекст, в котором расшифровываются намеки, умолчания, рассказы о подлинных и вымышленных событиях и скрытые за инициалами лица. Здесь приходится читать и за документом.

Первое, что делает Ю. М. Лотман, — отделяет «русского путешественника» «Писем» от русского путешественника Николая Михайловича Карамзина.

Первый — открытый, немного наивный, любознательный молодой человек, жаждущий приобщаться к европейской цивилизации. Его литературный образец — юный скиф Анахарсис в античной Греции из знаменитого и всюду читаемого романа Бартеlemi.

Второй — «брат Рамзей» из кружка московских розенкрейцеров, сотрудник Н. И. Новикова, уезжающий за границу вовсе не с радужными надеждами. Он делает шаг величайшей ответственности: порывает с кругом, который несколько лет составлял его интеллектуальный мир.

Превосходны главы книги, рассказывающие о Карамзине и масонах. Знаток истории русского масонства сумел буквально несколькими штрихами обозначить весьма сложные проблемы идейного развития русского общества конца XVIII века, сделав их доступными для восприятия и не упустив из вида их многомерности и противоречивости. Ю. М. Лотман мастерски владеет искусством литературного портрета: Н. И. Новиков, практик и мечтатель, С. И. Гамалея и в особенности А. М. Кутузов, «сочувственник» Радищева, Велокс¹, благородная и трагическая жертва собственных и чужих идей, умерший от голода в берлинской долговой тюрьме, оживают на страницах книги, — а рядом с ними проходят тени политиканов и авантюристов из той же масонской среды. Эта тема чрезвычайно важна в биографии молодого Карамзина. Силою обстоятельств масонские связи Карамзина сплелись в сложный узел мировоззренческих,

этических, политических и чисто личных проблем; решая их Карамзин проходил целую школу нравственного самовоспитания. Из этого горнила он вышел таким, каким мы его знаем.

Второй школой были европейские впечатления.

«Письма русского путешественника» — основной документ, по которому можно о них судить. Они очерчивают нам круг лиц, которых посещал Карамзин: Гердер, Виланд, Лафатер, Бонне, Бартеlemi, Кант — таков далеко не полный перечень европейских знаменитостей, упомянутых в «Письмах». Все эти встречи — совершенно реальны.

Разница между двумя путешественниками — литературным и подлинным — в объеме и отчасти содержании их бесед. Литературный путешественник передает лишь то, что нужно для его целей.

Восстановить подлинные беседы мы не можем. Их можно реконструировать лишь гипотетически.

Ю. М. Лотман рассказывает, чем был занят Лафатер к моменту встречи с Карамзиным, каковы были общие интересы Канта и Карамзина, Карамзина и С. Р. Воронцова. Он сразу же предупреждает читателя, что предлагает ему гипотезы, которые подтверждаются лишь косвенными данными.

Не все из этих гипотез одинаково убедительны. Так, нам кажется, что атрибуция Карамзину статьи о Петре III во французском журнале «Spectateur du Nord» (с. 95—98), во всяком случае, требует еще дополнительных обоснований. Думается, что и в самом направлении бесед был большой элемент непредсказуемой случайности. Важно, однако, другое: та плотная аура интеллектуальных и общественно-политических интересов, которая, как показывает Ю. М. Лотман, окружала фигуру реального путешественника. Поле напряжения вокруг него было выше, нежели вокруг путешественника «Писем». Это показано наглядно и доказательно и соответствует тому, что мы вообще знаем о девяностых годах русского XVIII века: они были временем необычайного интеллектуального взлета, может быть, больше, чем последующие эпохи.

Так обозначается внетекстовая реальность «Писем русского путешественника». Мир Карамзина был наполнен людьми и обстоятельствами, проходящими мимо «путешественника» «Писем» или отразившимися в тексте как будто случайным намеком, инициалом или упоминанием. И реальный маршрут

Карамзина нередко не совпадает с маршрутом «Писем». Биограф с особым вниманием фиксирует все, даже мелкие, противоречия в тексте: неувязки временные и пространственные. Это — одни из методов «дешифровки» — виртуозная филологическая работа. Она не самоцельна: в кажущихся пустотах, зияниях — события и лица, встречи и разговоры, о которых русский путешественник ничего не сообщал своему читателю. Между тем среди них, как можно думать, были события чрезвычайной важности.

В числе людей, с которыми встречался и говорил Карамзин, был товарищ Радищева и Кутузова В. Н. Зиновьев и, вероятно, сам А. М. Кутузов. И совершенно определено — Жильбер Ромм², о чем мы знаем только из недавно обнаруженного рекомендательного письма (с. 104).

«Путешественник» «Писем» разминулся со своим старинным приятелем «Любезным А*» и случайно попал из любопытства в «Парижское Народное Собрание», «о котором так много пишут теперь в газетах».

Путешественник Николай Карамзин, по мысли его биографа, виделся с эмиссаром московских розенкрейцеров А. М. Кутузовым, и это входило в его первоначальные планы, — но результаты этой встречи были иными, чем предполагалось вначале: они углубили разрыв.

И он был движим вовсе не праздным любопытством, когда запасался рекомендательным письмом к видному деятелю якобинского клуба.

С путешественником Николаем Карамзиным мы попадаем в атмосферу бурлящей революционной Франции.

Тема «Карамзин и Французская революция» — одна из центральных в книге. Это совершенно естественно. Судьба будущего историка во многом определилась тем, что он стал свидетелем грандиозных исторических сдвигов: Французской революции, а потом Отечественной войны 1812 года. Отныне и литературная, и философская, и социологическая мысль Карамзина будет питаться полученным историческим опытом. А. М. Кутузов, задававший полуиронический вопрос: не произошла ли в Карамзине Французская революция, — был пророчески прав.

Но здесь свидетельства «Писем» становятся особенно глухи.

Чтобы восстановить хотя бы в общих чертах впечатление Карамзина от революционной Франции, потребовалась не только скрупулезная работа над скудными фактическими источни-

ками, но и точное знание событий, в атмосфере которых жил Карамзин, и людей, с которыми он общался.

Биограф теперь не следует за мыслями «путешественника», он живет рядом с Николаем Карамзиным, выстраивая не литературный, а реальный событийный ряд. Он ведет читателя в Национальную Ассамблею, где работает «Конституанта» — комиссия по установлению статей конституции; он обращает внимание на личность Павла Строганова, получившего затем известность в русской политической жизни, а в ту пору — ученика Ж. Ромма, молодого человека якобинских симпатий. Карамзин должен был познакомиться с ним по самой логике событий.

Существует документ, подтверждающий эти гипотезы. Он хорошо известен, но на него редко обращают внимание, потому что сведения, в нем содержащиеся, известны по другим источникам. Его стоит прочесть заново в контексте глав Французской революции, обращая внимание на мелкие детали и акценты.

Этот документ — рассказ самого Карамзина о своих французских впечатлениях, сохранившийся в составе мемуаров К. С. Сербиновича. Записан он был поздно, уже в 1825 году.

«...В Страсбурге он видел народ в волнении и вознамерился ехать в Швейцарию», — рассказывает Сербинович.

Это единственное утверждение в поздних мемуарах, которое противоречит гипотезе Лотмана, — хотя и в деталях. Автору «Сотворения Карамзина» — на основании других свидетельств — представляется, что у Карамзина были иные причины ехать в Швейцарию. Но здесь рассказ, как кажется, все-таки близок к истине, хотя бы потому, что он поздний; события потеряли прежнюю актуальность, и их уже не нужно скрывать или искажать.

Зато другие детали рассказа точно вписываются в реконструированную картину.

«В Женеве все говорили против революции. От Лафатера имел он 17 рекомендательных писем. Прибыв в Париж, желал быть в заседании “Les Constituants”» (Русская старина. 1874. № 10. С. 242).

Семнадцать рекомендательных писем из Цюриха в Женеву — причем людям, весьма заинтересованным политической жизнью. «Против революции» говорили, конечно, не на улицах, а в женевских кружках, куда Карамзину открыл доступ Лафатер, а отсюда он получил письмо к Жильберу Ромму.

Это косвенно подтверждает предположение, что у Карамзина были и другие письма к политическим деятелям Парижа.

И попал он в «Парижское Народное Собрание», конечно, не из праздного любопытства путешественника. Хронологический расчет в «Сотворении Карамзина» показывает, что он бросился сюда, буквально выйдя из кареты.

«В то время, — пишет Сербинович, — Николай Михайлович был сильно вооружен против революции. Только любезность французов мирила его с ними». В рукописи дневников окончание фразы звучит иначе и следует продолжение, не попавшее в печатный текст: «...и мирила его с их мнениями. Жаркий спор впотьмах при Строганове» (ЦГАЛИ³. Ф. 195. Оп. I. № 5584. Л. 8).

Гипотеза о знакомстве со Строгановым превращается в несомненный факт, а факт приобретает важность первостепенную. Это было не просто знакомство. Молодые соотечественники вступали в бурные политические дискуссии.

Все эти детали и оттенки известного документа мы можем оценить по достоинству только сейчас, когда включим его в общую картину, нарисованную Ю. М. Лотманом.

Какую же позицию занимал Карамзин в политических дискуссиях девяностого года?

После событий якобинского террора, революционных войн 1812 года, в атмосфере брожения в России и в Европе двадцатых годов Карамзин постоянно подчеркивал свое неприятие революции.

В 1822 г. М. П. Погодин, будущий биограф Карамзина, записывает со слов П. П. Новосильцова⁴ в своем дневнике, что Н. М. Муравьев «выговаривал однажды Карамзину за его похвалы самодержавию, за монархический дух его “Истории”». Карамзин отвечал: «...да не буду я первый в моем Отечестве проповедовать тот другой дух, который омыл кровью всю Европу» (*Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 1. СПб., 1888. С. 177*). (Именно эту фразу пытался Погодин припомнить через сорок лет, но так и не смог. — см.: *Погодин М. П. Н. М. Карамзин. Т. II. С. 203—204.*)

Так было в 1820-е годы. В 1790-е годы было иначе.

Верный способ ошибиться — переносить на общественную психологию прошлых эпох критерии и оценки позднейшего времени.

Особенное достоинство книги Ю. М. Лотмана — строго исторический подход к сложнейшей и чреватой неожиданностями теме.

По косвенным признакам, цитатам, реминисценциям, сочинениям позднего времени, индивидуальным особенностям внешне незначачих иной раз заявлений исследователь «реконст-

руирует» подлинную мысль Карамзина и подлинный круг его впечатлений и оценок. Они не совпадают нередко не только с нашими представлениями, но и с нашими ожиданиями.

Карамзин говорит Пушкину, что если бы в России была свобода книгопечатания, он бы уехал в Константинополь. Здесь отзвук впечатления от одной из речей Мирабо (с. 120). Другие упоминания Мирабо позволяют заключить, что Карамзин знал его политическую биографию; более того, отправляясь от нее, размышлял над проблемой личности общественного деятеля.

А отсюда — ключ к некоторым его оценкам, поражавшим и потомков, и современников. Он был, вероятно, единственным из крупных русских мыслителей, кто сохранил до самой смерти «благоговение» к Робеспьеру.

Робеспьер был для него не «тираном», не «деспотом», не «сентиментальным тигром». Он был «Неподкупным», утопистом и в жизни, и в политике.

Все оказывалось бесконечно сложнее, нежели простое зачисление Карамзина по разряду «противников» или «сторонников» революции.

Революция шла не только на трибунах и в предместьях Парижа. Она проникала в салоны и на театральные подмостки. Ю. М. Лотман впервые попытался представить читателю атмосферу парижских салонов девяностых годов, где можно было встретить частным образом людей, имена которых уже становились историческими.

В театральных рецензиях «Московского журнала» есть следы парижских театральных впечатлений Карамзина. В «Письмах» — следы чтения парижских газет и посещений кафе, превращавшихся в это время в подобие политических клубов. Живые впечатления меняли привычные оценки, взгляд очевидца корректировал концепции. Покидая Париж, Карамзин увозил с собой хаос этих впечатлений, надежд и опасений, прочитанного и увиденного. «Увиденное было грандиозно и страшно, величественно и несколько театрально, книги пророчили всеобщее счастье и всеобщую гибель. А на душе было молодо, мечталось, ясно было, что жизнь вся впереди, что ни один решительный выбор еще не сделан» (с. 174—175).

Это, вероятно, самая точная характеристика Карамзина в 1790 году.

В ближайшие годы он будет у Державина вести «неосторожные», «снисходительные» речи о Французской революции.

Карамзин вернулся из путешествия писателем. Нужно остро ощущать специфику 1790-х годов, чтобы за этой тривиальной на современный взгляд формулой увидеть целый комплекс сложнейших проблем.

Ю. М. Лотман рассказывает, что такое самосознание писателя в России конца XVIII столетия. Это целая философия жизненного поведения, как общественного, так и частного. Это проблема соотношения автора и человека, взаимодействия того и другого с читательской аудиторией и государственной властью, с коммерцией и моралью. Все эти проблемы Карамзин должен был решать сам и впервые, потому что предшественников у него не было. Он был первым профессиональным писателем в России.

Уже одно это ставило его на грань войны против всех. Его поведение шокировало. «Московский журнал», где он, молодой человек без связей и имени, намеревался оценивать маститых литераторов, раздражал литературную среду. Недвусмысленная программа преобразования литературного языка с ориентацией на европейское Просвещение породила резкую враждебность. Прежние наставники его — московские розенкрейцеры — рассматривали его как ренегата. Положение его в отношении к правительству было двусмысленным. Он был связан с Новиковым, уже сидевшим в крепости, и имел дерзость напечатать оду, призывавшую правительство к милосердию. На процессе Новикова интересовались его личностью и обстоятельствами его путешествия.

Он явился в Россию как раз в те дни, когда шел другой политический процесс, напугавший современников, — процесс Радищева, закончившийся смертным приговором, замененным потом ссылкой в Сибирь. Императрица, читавшая книгу, прямо связала ее идеи с «мартинизмом», т. е. масонством, и французской революционной мыслью. Те и другие подозрения падали и на Карамзина, вопрос о связях Карамзина с радищевским кругом и о степени его осведомленности в деталях суда приобретает поэтому особенно важное значение. Ю. М. Лотман предполагает, что Карамзин привез с собой из Лондона письмо С. Р. Воронцова к брату его, А. Р. Воронцову, который покровительствовал Радищеву и стремился всячески облегчить его судьбу — и уж во всяком случае должен был нанести ему визит (с. 205).

В цитированном уже рассказе Карамзина в записи Сербиновича мы находим прямое подтверждение и этой осторожно высказанной гипотезе. «По приезде в Лондон Николай Михайлович познакомился с графом Воронцовым, от которого имел письмо

к графу, брату его. Тогда Безбородко⁵ и Воронцовы были друзьями».

Может быть, и имя Безбородко, всплывшее в рассказе о событиях революции и политических разговорах у Державина, совершенно неожиданно и немотивированно, в силу некоей непонятной нам сейчас логики ассоциаций, вспомнилось здесь в связи с процессом Радищева. По должности своей Безбородко подписывал решение Государственного Совета о смертной казни; по дружбе с Воронцовым, предупреждал его о начале преследования и осторожно подсказывал, как погасить разгоравшееся пламя. Письмо его В. С. Попову⁶, где он стремится представить дело не столь уж важным, о чем упоминает Ю. М. Лотман (с. 205), написано 16 июля — тогда, когда мнение императрицы было ему уже известно.

Нет сомнения, что Карамзин был осведомлен о внутривнутриполитических обстоятельствах шире, чем нам кажется сейчас. Но Ю. М. Лотман не ограничивается установлением этого факта.

Он видит в намеренном эпатаже, демонстративном и опасном, некий принцип жизненного и социального поведения.

Это было воспитание собственной личности, «сотворение себя», в сознании Карамзина прочно связавшееся с представлением о социальном и нравственном долге писателя.

К богатейшему материалу книги мы можем добавить еще один эпизод, до сих пор неизвестный. В 1795 г., когда над московскими розенкрейцерами уже прошла гроза политических процессов, и они, рассеянные, подавленные, были заключены в крепость, как Новиков, или в собственные имения и дома, подобно Трубецким, Тургеневым и Херасковым, — в это время Карамзин делает почти самоубийственный шаг: он начинает ездить к Херасковым и посещает Тургеневых в их симбирском заточении. В феврале Елизавета Васильевна, жена поэта и опального куратора Московского университета М. М. Хераскова, пишет И. П. Тургеневу: «Н. М. часто бывал у нас, мы с ним гораздо больше прежнего спознакомились и более узнали цену его. Без лести сказать, что он редко хороший человек во всех отношениях; мы любим его много и очень, очень много; он же и тебя любит, то как мне мало любить его». Из следующего письма, 27 марта, мы узнаем о посещении им Тургеневых: «благодарю тебя за письмо, которое получила я с Ник. Мих.: ты мало пишешь, но я зато много расспрашивала его о вас: он любит тебя очень и, кажется, более, чем прежде любил» (ЦГАОР⁷. Ф. 1094. Оп. 1. № 25. Л. 83 об., 87). Восторженные отзывы людей, которых сторонились, как зачумленных, говорят о мно-

гом, — и Карамзин их вполне заслужил. Между тем, демонстрируя прочность личных своих привязанностей, он все дальше расходится с масонами мировоззренчески и недвусмысленно дает это понять в статьях «Московского журнала».

Есть некоторые основания полагать, что доносы на Карамзина видного масона П. И. Голенищева-Кутузова, обвинявшего молодого писателя в якобинском яде, аморальности и даже (позднее) в связи с иностранными эмиссарами, — доносы, рассчитанные на его политическое уничтожение, были реакцией на этот разрыв; намек на это делает Ф. Н. Глинка, человек осведомленный, сам масон и к тому же женатый на дочери Голенищева-Кутузова.

Но если внешние обстоятельства, в которых Карамзину приходилось «строить свою личность» становились угрожающими, то и внутренние, касавшиеся самосознания, мировоззрения, самой интимной жизни, были не более благополучны.

Карамзин переживал кризис.

«Цветущий мир» его личности возникал, по слову Баратынского, «из равновесья диких сил», из душевного смятения, из хаоса, в который действительно требовалось внести сознательную гармонию.

Анализ «кризиса Карамзина», отразившегося в письмах Мелодора и Филалета, и «интимного» регистра его биографии — замечательные по глубине и точности страницы книги.

Ю. М. Лотман обращает внимание на совмещение противоположных точек зрения на парижские события на страницах карамзинского «Московского журнала».

В ближайшее же время Карамзин напишет диалог Мелодора и Филалета, — двух ипостасей единого размышляющего субъекта — и столкнет между собой пессимистический и оптимистический взгляды на самые судьбы человечества и на идею исторического прогресса. Все идеи, выработанные веком разума, — просвещение, гуманизм, исторический прогресс — подвергались тяжкому испытанию: конец века ознаменовался «кровью и слезами». Это были проблемы, мучившие самого Карамзина, — и они не получали однозначного решения.

Проще всего прилагать к таким произведениям готовые мерки «противоречивости» или «диалогичности».

Ю. М. Лотман с завидной независимостью от популярных моделей отказывается «прибегать под защиту формул о некоей

амбивалентности или диалогичности позиции Карамзина» (с. 219). Он видит здесь рождение принципа философского скептицизма — основы толерантности, терпимости к противоположным суждениям.

Это очень верно. Развертывая и конкретизируя сжатый вывод, можно вспомнить здесь и антиномическое противоречие, лежащее в основе «Острова Борнгольма», и методологические основания «Истории государства Российского». Карамзин отвечал критикам, обвинявшим его в односторонности заключений, что он хотел дать верную картину и открыть возможность для противоположных суждений (*Стурдза А. С.* Воспоминания мои о Н. М. Карамзине // *Москвитянин*. 1846. № 9—10. С. 153—154). Скептическая точка зрения звучит и в его разговорах с Д. Н. Блудовым об оценке исторических событий и лиц: надо остерегаться «собственных увлечений» и принимать во внимание «глубоко укоренившийся общий взгляд на лица и события, когда этот взгляд переходит в сознание народное» (*Блудова А. Д.* Воспоминания // *Рус. архив*. 1889. № I. С. 71—72). Здесь нет возможности разбирать подробно этот важный вопрос, — и мы можем лишь только обозначить его вслед за книгой Ю. М. Лотмана. И это — далеко не единственный пример выхода биографа за пределы проблем, круг которых он очертил себе сам, в иные, более общие и глубокие сферы философии, гносеологии, социальной жизни. «Сотворение Карамзина» привлекательно не только тем, что в нем сказано, но и тем, что намечено; за индивидуальной биографией великого деятеля русской культуры ощущается сама стихия культуры, его породившей.

Это в полной мере относится к страницам книги, посвященным личной и интимной биографии Карамзина. Кризисные годы затронули и ее. В 1793—1795 гг. большую часть времени он проводит в Знаменском, Орловском поместье Плещеевых. С Настасьей Ивановной Плещеевой еще до путешествия его связывала нежная дружба, нечто среднее между платонической любовью, дружеской и сыновней привязанностью: она была старше Карамзина, — к сожалению, мы не знаем, насколько.

Эти отношения Ю. М. Лотман анализирует как факт культурной истории. Он рассказывает современному читателю, что такое «сентиментальная дружба» — исчезнувшая со временем форма взаимоотношений, не понимая которой, нельзя понять ни Стерна, ни раннего Гёте, ни русского сентиментализма. Одно из самых выдающихся произведений русской сентиментальной прозы — «Рыцарь нашего времени» Карамзина — будет прочитано без ее учета совершенно превратно. Она входила

в формы этикетного поведения, уходящие своими корнями в культуру французского салона XVII века и для сентиментальной эпохи имевшие почти такое же значение, как культ дамы в эпоху средневековья. Эти формы были пронизаны литературным началом и в свою очередь создавали литературу игры, из которой выростали затем вещи чрезвычайно серьезные. Отсюда то внимание, с которым Ю. М. Лотман изучает детали литературного быта Знаменского, — и это изучение увенчивается открытием: по французской брошюре «Les amusements de Знаменское», изданной в Москве в 1794 г. и сохранившейся, по видимому, в СССР только в одном экземпляре, ему удалось определить записи устных рассказов Карамзина. Это второй текст, атрибутированный Карамзину в книге, и притом с абсолютной убедительностью. Вообще главы о Знаменском являются образцом принципиального теоретического осмысления личной биографии писателя; они показывают, в частности, для чего нужно изучать интимную жизнь исторического лица и как именно нужно это делать. Может быть, стоило бы упомянуть, что сочинение Н. И. Плещеевой — «Училище бедных...» (перевод книги Лепренс де Бомон), изданное в 1808 году (см. с. 270), также создавалось «под наблюдением Н. М. Карамзина», и, может быть, даже в Знаменском; «начало сего перевода, — пишет довольно осведомленный современник, — как говорят, было гораздо прежде вышеозначенного 1808 года» (Макаров М. Н. Материалы для истории русских женщин-авторов // Дамский журнал. 1833. № 51—52. С. 147).

Ю. М. Лотман очень осторожно говорит о прямых сердечных увлечениях Карамзина. Мы действительно «почти ничего не знаем» о них (с. 271). И все же переход литературы в любовный быт и, наоборот, «превращение реальных признаний в литературный жанр» (с. 206), вероятно, стоило бы конкретизировать. Жесткий отбор материала заставил автора «Сотворения Карамзина» опустить те скудные сведения о романе Карамзина с княгиней П. Ю. Гагариной (матерью будущей жены П. А. Вяземского), которые содержатся в воспоминаниях И. М. Долгорукова («Капище моего сердца») и на которые он сам опирался, комментируя собрание стихотворений Карамзина (1966). Несомненно, она и есть та «княгиня», о которой идет речь на с. 272, — и столь же несомненно, что и этот роман, отразившийся в стихах «К верной» и «К неверной», носил ярко выраженный «литературный» характер. Здесь аскеза исследователя вряд ли оправдана.

Итак, определение пути, кризис мировоззрения, кризис эмоциональный. В этом горниле завершается формирование личности, «сотворение себя». В девятнадцатый век Карамзин входит новым человеком — таким, каким будут знать его младшие современники.

Последние двадцать пять лет жизни Карамзина занимают в книге менее сорока страниц. Читатель вправе жалеть об этом, — но таков замысел книги о становлении личности.

Зрелый человек и мыслитель меняет свой жизненный и литературный путь. Подобно тому, как древний закон предписал киплингговскому⁸ Пуран Батату⁹ быть двадцать лет учеником, двадцать лет борцом и двадцать — главой семьи, а затем удалиться от мира отшельником, — Карамзин к середине жизни — в тридцать пять лет (или около того) женился и положил перо литератора. Отныне жизнь его будет отшельнической жизнью ученого-историка. Он выполнил свою миссию — создал «Историю государства Российского», — но заплатил за свой подвиг тяжкую цену: окруженный друзьями и почитателями, он оставался одинок, более того, сам ревниво оберегал свое одиночество. Это был единственный выход для человека, утратившего все иллюзии.

Его уважали, но не принимали до конца ни «либералисты», ни консерваторы. Иногда он по-человечески обижался на это непонимание, но признавал, что такова цена внутренней свободы. Если бы он не оплатил ее, «История государства Российского», вероятно, не была бы написана.

Метафора «Дон Кихота, потерявшего надежду» организует последние главы книги.

В 80-годы прошлого века А. Н. Пыпин написал замечательный труд «Общественное движение в России при Александре I», где цитировал «Мысли об истинной свободе», записанные Карамзиным для себя в последний год жизни.

«Аристократы, сервиллисты хотят старого порядка, ибо он для них выгоден. Демократы, либералисты хотят нового беспорядка — ибо надеются воспользоваться им для своих личных выгод».

Доказательства аристократа — «палица, а не книга», сила, а не убеждение.

Либералисты говорят о счастье людей. «Но есть ли счастье там, где есть смерть, болезни, пороки, страсти?»

“Основание гражданских обществ неизменно: можете низ поставить наверху, но будет всегда низ и верх, воля и неволя, богатство и бедность, удовольствие и страдание” (*Карамзин Н. М. Неизданные соч. и переписка. СПб., 1862. Т. 1. С. 184—185*).

Итак, ищите свободу в самих себе,— только она не зависит ни от государя, ни от парламента. Ее дает мир совести и доверенность к Провидению.

Эта запись возмущила либерального историка «бессодержательностью общих мест», практически служивших только «сервильизму» (*Пыпин А. Н. Общественные движения при Александре I. 4-е изд. СПб., 1908. С. 419*).

Мы приводим это поразительное по своей плоскости суждение не для того, чтобы с высоты нашей методологической искушенности бросить камень в выдающегося знатока и исследователя русской общественной мысли, напротив, чтобы показать, что ни эрудиция, ни добросовестность, ни прогрессивность общественной позиции не дают возможности понять исторический текст, если подходить к нему с позиций метафизической оценочности и эмпирического «здравого смысла», вкладывая в него современные понятия. Между тем именно так они нередко читаются и сейчас. Ю. М. Лотман совершенно свободен от этой ошибки; исторический текст для него всегда изначально «непонятен» и нуждается в дешифровке. Он не спешит оценивать; он призывает сначала уяснить систему идей, подлежащую оценке. «Общие места» Карамзина были порождением философии более напряженной и глубокой, чем просветительский историзм Пыпина: за ними стояло понимание органического и исторически неразрешимого противоречия аристократии и народа. Это был тот исторический пессимизм, который, как считает Ю. М. Лотман, привел Карамзина к переоценке всей его философии истории и к мысли прекратить работу над «Историей государства Российского». У нас слишком мало данных, чтобы утверждать положительно, что это было обдуманное и вызревшее решение, но нет сомнений, что исторический скепсис Карамзина приобрел в его предсмертной записи почти глобальный характер. «Освобождение от иллюзий, — говорит Ю. М. Лотман, — доходит здесь до грани цинизма и одновременно политического ясновидения» (с. 312). Заметим не только отточенную лаконичность формулы, но и диалектичность суждения: биограф здесь достоин своего героя. Мыслитель подошел к краю пропасти. То, что биограф решился идти за ним, говорит не только о научной проницательности, но и о мужестве: мысли великого человека,

как ни занимательно за ними следовать, могут иной раз отпугнуть своей беспощадностью.

Здесь естественно было бы поставить последнюю точку в жизнеописании Карамзина.

Но автор книги «Сотворение Карамзина» не может этого сделать, — ибо биография в его глазах такой же творческий акт, как и «История...», как и «Письма». Он делает то, чего никто не делал до него: он читает предсмертные письма Карамзина как творческий документ. До сих пор на них смотрели только как на бытовые письма, где обсуждался вопрос о поездке в Италию для лечения, поездке, которой уже не суждено было осуществиться.

Ю. М. Лотману они раскрылись как последний этап жизнестроения, «сотворения себя».

«Захотелось разительно нового. Нового неба, новой земли.
<...>

В Кронштадте стоял готовый к отплытию фрегат, на котором русский путешественник должен был отправиться в свое новое путешествие.

Путь не был окончен. Он умер, сидя в кресле.словно присел перед дорогой» (с. 314).

Наш обзор подошел к концу. За его пределами осталось многое из насыщенной фактами, событиями и мыслями книги.

В ней показано самоформирование одной из самых выдающихся личностей в культурной истории России.

В ней прослежено, как этот образ Писателя и Человека усилиями Карамзина стал фактом общественного сознания.

В ней раскрылась личность Карамзина с его одухотворяющим этическим пафосом, который потому уже не погас в истории русской литературы.

Карамзин открыл русскому обществу историю его отечества. Но до этого он подготовил русское общество к восприятию исторических и человеческих ценностей. Он создал русского читателя и читательницу. Конечно, он делал это не один, но именно его творчество открыло пути всей последующей литературе.

Но значение книги Ю. М. Лотмана не исчерпывается важностью ее содержания и даже теми открытиями, общими и частными, которые невозможно перечислить даже в обширной рецензии.

Он показал, как строго научная мысль может организовать литературное повествование, став его сюжетом, и как литературное начало может сделаться органическим элементом научной концепции.

«Сотворение Карамзина» продумано ученым и написано писателем, владеющим искусством изящной, ясной, свободной и эмоциональной прозы.

И еще одно, последнее по месту, но не по важности. Книга Ю. М. Лотмана проникнута глубоким уважением к истории и культуре. Она написана с тем достоинством, которое воспрещает писателю оглядываться на сиюминутные «частности и местности» и всуе тревожить великие тени, превращая их в пешки в своей игре. Культурное прошлое и выдающиеся его деятели для Ю. М. Лотмана — самостоятельная и самодостаточная величина, которая требует к себе бережного отношения и заслуживает нашей любви и гордости; в тоне его рассказа о них слышатся совершенно личные и даже какие-то ностальгические нотки, словно от нас ушли люди, которых мы знали и любили.

Это чувство — быть может, лучшая дань памяти Карамзина.

